



МАРГЕРИТ

ЮРСЕНАР

ВОСПОМИНАНИЯ
АДРИАНА

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Маргерит Юрсенар
Воспоминания Адриана

«ФТМ»

«АСТ»

1974

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

Юрсенар М.

Воспоминания Адриана / М. Юрсенар — «ФТМ», «АСТ»,
1974 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-109100-2

«Воспоминания Адриана» – рассказ от первого лица в виде вымышленных писем римского императора Адриана. Это уникальная историческая проза в отношении чистоты и точности литературного стиля, воспроизводящая манеру письма римских интеллектуалов поздней Империи настолько точно, что роман был успешно переведен на классическую латынь. Столь же совершенно и литературное мастерство автора, буквально «оживляющего» перед читателем сложную, многогранную и неординарную личность великого римского императора – политика и философа, строителя и поэта, полководца и неутомимого путешественника, вечно гонимого в неизвестное.

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-109100-2

© Юрсенар М., 1974

© ФТМ, 1974

© АСТ, 1974

Содержание

ANIMULA VAGULA BLANDULA	6
Это письмо, к которому я приступил...	16
VARIUS MULTIPLEX MULTIFORMIS	20
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Маргерит Юрсенар

Воспоминания Адриана

Marguerite Yourcenar

MÉMOIRES D'HADRIEN

Комментарии Г. Кнабе

Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.

© Editions Gallimard, Paris, 1974

© Перевод. М. Ваксмахер, наследники, 2018

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Маргерит Юрсенар (1903–1987) – одна из величайших франкоязычных писателей XX века, командор ордена Почетного легиона и первая в истории женщина, вошедшая в число «бессмертных» членов Французской академии. Ее романы, рассказы, эссе и публицистические произведения оказали огромное влияние на европейскую интеллектуальную прозу, а ее американский дом в Маунт-Дезерт стал местом паломничества франкоязычных литераторов.

*Animula vagula blandula,
Hospes comesque corporis,
Quae nunc a bibis in loca
Pallidula, rigida, nudula,
Nec, ut soles, dabis iocos...*

P. Aelius Hadrianus, Imp.¹

¹ Душа, скиталица нежная, Телу гостя и спутница,
Уходишь ты ныне в края Блеклые, мрачные, голые,
Где радость дарить будет некому... П. Элий Адриан, Император (лат.).

ANIMULA VAGULA BLANDULA ДУША, СКИТАЛИЦА НЕЖНАЯ

Дорогой Марк²!

Нынче утром я сошел вниз к моему врачу Гермогену, который только на днях возвратился на Виллу³ после довольно долгой поездки в Азию. Обследование нужно было провести натошак, и мы условились, что он меня примет в утренние часы. Я сбросил плащ и тунику и прилег. Избавляю тебя от подробностей – они были бы тебе так же неприятны, как и мне самому, – и от описания тела стареющего человека, которому предстоит умереть от сердечной водянки. Скажу лишь, что я послушно кашлял, дышал и задерживал дыхание, повинаясь указаниям Гермогена; он был явно напуган столь стремительным развитием болезни и готов был свалить всю вину на молодого Иолла, который наблюдал меня в его отсутствие. Наедине с врачом трудно оставаться императором и не менее трудно ощущать себя человеком. В глазах Гермогена я был только скопищем жидкостей, жалкой смесью лимфы и крови. Нынче утром я впервые подумал о том, что мое тело, этот верный товарищ и преданный друг, которого я знаю лучше, чем свою душу, оказалось коварным чудовищем, которое в конце концов сожрет своего господина. Но полно. Я люблю свое тело, оно верно служило мне во всех случаях жизни, и мне ли скупиться на заботы о нем. Однако, в отличие от Гермогена, я больше не верю ни в чудодейственную силу трав, ни в целебные свойства минеральных солей, за рецептами которых ездил он на Восток. Этот человек, всегда такой тонкий, стал вдруг рассыпаться в утешениях, настолько затасканных и пошлых, что они не могли меня обмануть. Он знает, что я не терплю подобной лжи, но тридцатилетние занятия медициной безнаказанно не проходят. Я прощаю верному слуге эту попытку скрыть от меня мой конец. Гермоген – человек ученый и к тому же мудрый; он гораздо честнее любого придворного лекаря, и, доверившись ему, я, наверное, был бы самым ухоженным на свете больным. Но никому не дано выйти за пределы, предугазанные судьбой; распухшие ноги больше не держат меня во время долгих римских церемоний; я задыхаюсь, и мне уже шестьдесят лет⁴.

Однако не делай из этого ошибочных выводов; я еще не настолько слаб, чтобы поддаваться химерам страха, почти столь же нелепым, как и химеры надежды, и, конечно, более мучительным, чем они. Если уж мне суждено обмануться, я бы предпочел быть излишне доверчивым: в этом случае я ничего не потеряю, зато страдать буду меньше. Мой срок уже близок, но это не означает, что он наступит немедленно, и я каждую ночь засыпаю в надежде дожить до утра. Внутри тех непреодолимых пределов, о которых я только что говорил, я могу упрямо защищать свои позиции и даже порой отвоевывать у противника несколько пядей отданной было земли. И все же я достиг возраста, когда жизнь становится для каждого человека пора-

² Имеется в виду Марк Аврелий Антонин, будущий император (161–180 гг.). 1 января 138 г. неожиданно умер Луций Цейоний Коммод (далее неоднократно упоминаемый в романе), которого Адриан предназначал своим преемником. Тогда он избрал своим наследником 50-летнего сенатора Тита Аврелия Антонина (император Антонин Пий, 138–161 гг.), обязав его усыновить двух юношей, Цейония Коммода (сына Л. Цейония) и 17-летнего Марка Аврелия, которые впоследствии действительно как соправители сменили Антонина Пия на посту императора. Обращение к Марку (Аврелию) и намеки в дальнейшем тексте на его правление позволяют установить время, к которому, по замыслу М. Юрсенар, относятся настоящие «воспоминания» – между 1 января и 10 июля 138 г. (день смерти Адриана).

³ Словом «Вилла» здесь и в дальнейшем обозначается загородная резиденция Адриана в Тибуре (ныне Тиволи). Сооруженная за два строительных периода (118–125 и 125–133 гг.) и сочетавшая греческие скульптуры старинного стиля с ультрасовременными, чисто римскими архитектурно-строительными формами, она остается свидетельством утонченного вкуса Адриана, его постоянного стремления к греко-римскому синтезу и одним из высших достижений римской архитектуры. Император, однако, пользовался Виллой мало и поселился здесь лишь в самом конце жизни.

⁴ На самом деле 62 года, т.к. Адриан родился 24 января 76 г. Намеренная стилизация М. Юрсенар под язык римских писателей, – следуя требованиям риторики, они обычно предпочитали округленные цифры.

жением, с которым он должен мириться. Сказать, что мои дни сочтены, – это ничего не сказать: так было с самого начала жизни; таков наш общий удел. Но неопределенность места, времени и способа смерти, мешающая отчетливо видеть цель, к которой мы движемся неуклонно и без передышки, уменьшается по мере развития моей смертельной болезни. Внезапно умереть может каждый, но лишь больной знает твердо, что через десять лет его не будет среди живых. Полоса тумана распространяется для меня уже не на годы, а на месяцы. Мои шансы умереть от удара кинжалом в сердце или от падения с лошади теперь уже минимальны; вероятность заразиться чумой ничтожна; проказе или раку меня уже не настигнуть. Мне не грозит больше риск пасть на границах империи под ударом каледонского топора⁵ или парфянской стрелы; бури так и не смогли меня погубить, и колдун, предсказавший мне, что я не утону, был, кажется, прав. Я умру или в Тибуре, или в Риме, или, самое дальнее, в Неаполе, и обо всем позаботится приступ удушья. Какой приступ, десятый или сотый, окажется для меня последним? Вопрос только в этом. Подобно путешественнику, который, плывя на корабле меж островов архипелага, видит, как к вечеру рассеивается над морем пронизанный солнцем туман и впереди проступает линия берегов, я начинаю различать очертания своей смерти.

Некоторые периоды прожитой мною жизни походят уже на опустелые покои излишне просторного дворца, в котором его обедневший владелец занимает теперь всего лишь несколько комнат. Я больше не охочусь; косули в этрусских горах могли бы теперь жить спокойно, будь я единственным, кто способен потревожить их мирные игры. С Дианой, владычицей лесов, я всегда поддерживал отношения переменчивые и пылкие – отношения влюбленного к любимому существу; когда я был подростком, охота на вепря впервые дала мне возможность испытать, что значит властвовать над людьми и что такое опасность; тому и другому я предавался с неистовством; и все эти крайности вызывали недовольство Траяна⁶. Кровавый дележ охотничьей добычи на поляне в Испании⁷ был для меня первым опытом смерти, мужества, жалости к живым существам и трагического наслаждения зрелищем их страданий. Став мужчиной, я отдыхал на охоте от тех тайных сражений, что мне постоянно приходилось вести с противниками, то слишком лукавыми или слишком тупыми, то слишком слабыми или слишком сильными для меня. Суровая битва между разумом человека и прозорливостью диких животных казалась в сравнении с человеческими кознями удивительно честной. Когда я стал императором, мои охоты в Этрурии помогали мне судить об отваге или находчивости высоких сановников; таким образом я отверг или приблизил к себе не одного государственного деятеля. Позже, в Вифинии, в Каппадокии⁸, я использовал большие облавы на зверя в качестве предлога для праздника, для осенних торжеств в азиатских лесах. Но мой сотоварищ по последним охотам умер совсем молодым, и мое пристрастие к этим жестоким радостям угасло после его ухода. Однако даже здесь, в Тибуре, внезапного фыркания оленя в лесной чаще достаточно для того, чтобы во мне встрепенулся инстинкт, гораздо более древний, чем все остальные инстинкты; благодаря ему я ощущаю себя не только императором, но и гепардом. Как знать, быть может, я всегда бережно расходовал человеческую кровь только лишь потому, что пролил так много крови диких животных, хотя нередко в глубине души предпочитал их людям. Но как бы там ни было, образы хищников по-прежнему преследуют меня, и я с немалым трудом удерживаюсь от нескончаемых охотничьих историй, чтобы не подвергать вечерами тяжкому испытанию терпеливость моих гостей. Разумеется, в воспоминании о дне

⁵ Каледоны – кельтское племя, обитавшее в пределах нынешней Шотландии.

⁶ Траян – император в 98–117 гг., был двоюродным дядей Адриана и после ранней смерти отца будущего императора в 86 г. – его опекуном.

⁷ Род Элиев, из которого вышел Адриан, как и род Ульпиев, к которому принадлежал Траян, происходил из Испании (город Италика в провинции Бетика).

⁸ Вифиния – область на севере Малой Азии, с 74 г. до н.э. вошедшая в состав римских владений. Каппадокия – область на востоке Малазийского полуострова, с начала н.э. провинция Римской империи.

усыновления меня Траяном много радостного, но и вспомнить о львах, убитых в Мавритании, тоже приятно.

Отказ от коня – жертва еще более мучительная: хищный зверь – всего лишь противник, конь же был мне другом. Если б мне было дано самому избрать свой удел, я бы хотел быть Кентавром. Отношения между Борисфеном и мной были математически четки; он подчинялся мне не как своему хозяину, а как подчиняются мозгу. Удалось ли мне хоть раз добиться того же от человека? Столь абсолютная власть всегда таит в себе для того, кто обладает ею, опасность ошибки, но наслаждение, какое я получал, пытаюсь свершить невозможное, когда брал на скаку препятствия, было слишком огромным, чтобы жалеть о вывихнутом плече или сло-манных ребрах. Тысячу всяких, довольно зыбких, понятий, обычно прилагаемых к человеку, вроде звания, должности, имени, – все то, что так осложняет дружбу между людьми, – моему коню заменяло единственное знание, знание моего настоящего веса. Он был частью моих усилий; он очень точно – и, может быть, даже лучше, чем я, – знал, в какой точке моя воля расходится с моими возможностями. Но преемника Борисфена я больше не обременяю своей тяже-стью грузом дряблых мышц больного человека, слишком немогущего для того, чтобы он мог сам взобраться на спину верхового коня. Сейчас, когда мой помощник Целер⁹ объезжает его на Пренестинской дороге, мой так быстро канувший в прошлое опыт позволяет мне разделить с всадником и с животным ту радость, которую они оба получают от скачки, и по достоинству оценить ощущения человека, летящего во весь опор навстречу солнцу и ветру. Когда Целер соскакивает с коня, я вместе с ним чувствую под ногами землю. То же самое происходит и с плаванием: я от него отказался, но все еще чувствую вместе с пловцом ласку воды. Пробе-жать даже самое короткое расстояние для меня теперь так же невыносимо, как для статуи, как для каменного Цезаря, однако я еще помню, как мальчишкой носился по иссушенным хол-мам Испании, как бегал с самим собой вперегонки и валился с ног, задыхаясь, но твердо зная при этом, что мое молодое сердце и отличные легкие не замедлят вернуть равновесие орга-низму; и всякий атлет, тренирующийся в беге на длинную дистанцию, находит в моей душе понимание, которого не достичь одним лишь рассудком. Так из каждого искусства, в котором я преуспел в свое время, я извлекаю какое-то знание, и оно частично возмещает мне утрачен-ные радости. Я считал – и в добрые моменты поныне считаю, – что таким способом человек мог бы вобрать в себя существование всех людей, и это сочувствование явилось бы одним из самых надежных видов бессмертия. Мне выпадали мгновения, когда это понимание готово было перейти границы человеческого, когда оно шло от пловца к волне. Но тут я не могу уже опираться на точные данные и потому вторгаюсь в область таких метаморфоз, какие являются нам лишь в сновидениях.

Чревоугодие – истинно римский порок, но я был умерен в еде, и эта умеренность была мне всегда в радость. Гермогену не пришлось ничего менять в моем режиме питания. Един-ственным, в чем он, пожалуй, мог меня упрекнуть, было нетерпение, с каким я в любое время и в любом месте стремился поскорей проглотить первое попавшееся кушанье, словно разом хотел покончить с теми ощущениями, которыми досаждал мне желудок. Конечно, человеку богатому, никогда не терпевшему лишений, кроме тех, которые он принимал на себя добро-вольно или к каким на недолгое время бывал принуждаем силою обстоятельств, не пристало хвастаться своим малоедением. Наестся в праздничный день до отвала всегда было честолю-бивой мечтой, предметом радости и естественной гордости бедняков. Мне нравились ароматы жареного мяса и шум выскребаемой посуды во время солдатских празднеств, нравилось, что пиршества в лагере (или то, что почиталось в лагере за пиршество) были именно тем, чем они

⁹ По-видимому, вымышленное лицо, представлявшее военно-командный элемент в окружении императора; не поддается отождествлению с ним реально засвидетельствованный Каниний Целер – греческий ритор, секретарь по греческой переписке (и, скорее всего, отпущенник) Адриана, один из воспитателей Марка Аврелия.

должны были быть, – веселым и грубым противовесом тяготам и лишениям будничных дней; я довольно легко мирился с запахом топленого жира на общественных площадях в дни сатурналий. Но римские пиры вызывали у меня такое отвращение и такую тоску, что несколько раз во время военных экспедиций, когда мне, казалось, грозила неминуемая смерть, я утешал себя мыслью о том, что мне по крайней мере уже не надо будет больше присутствовать на обедах. Не обижай меня, трактуя слова мои как пошлый отказ от жизненных благ; процедура, которой мы предаемся два или три раза в день и целью которой является поддержание жизни, бесспорно, заслуживает наших забот. Съесть спелый плод – это значит дать войти в нас чему-то живому и прекрасному, пусть инородному, но, как и мы, вскормленному и возвращенному землей; это значит принять жертвоприношение, которым мы ставим себя выше неодушевленных предметов. Надкусывая ломоть солдатского хлеба, я всякий раз с восхищением думал о том, что эта тяжелая и грубая пища способна претвориться в кровь, в теплоту и даже, может быть, в мужество. О, почему мой дух, даже в лучшие мои дни, был наделен лишь малой долей той способности к усвоению, какой обладает тело?

В Риме на протяжении нескончаемых официальных обедов мне нередко приходила в голову мысль о том, что у нашей роскоши нет далеких истоков, о том, что этот народ скуповатых крестьян и нетребовательных к пище солдат, который всегда довольствовался ячменем и чесноком, позднее, во времена завоеваний, ворвался вдруг в кухни Азии и теперь с грубостью проголодавшихся мужланов жадно поглощает самые изысканные яства. Наши римляне обжираются ортоланами, накачиваются соусами, травят себя пряностями. Какой-нибудь Апиций¹⁰ так и пыжится от гордости, кичась затейливой сменой блюд, бесконечной вереницей кушаний, острых, сладких, тяжелых или, напротив, воздушных, из которых складывается пышный распорядок его застолья; добро бы еще каждое из этих яств предлагалось отдельно, вкушалось натошак, отведывалось знатоком, чьи вкусовые ощущения еще не притупились. Подаваемые вперемешку, затерянные в нагромождениях каждодневного изобилия, они создают во рту и в желудке отвратительную мешанину, где ароматы и оттенки вкуса теряют свои природные свойства, свою восхитительную неповторимость. Добрейший Луций¹¹ когда-то тешил себя тем, что готовил для меня редкие кушанья; его фазаньи паштеты, с их изощренной дозировкой жира и специй, свидетельствовали о мастерстве столь же высоком, как мастерство музыканта или живописца; но мне было жаль, что в его стряпне исчезал натуральный вкус великолепной дичи. Греция умела управляться с этими делами куда лучше: ее смолистое вино, ее обсыпанный кунжутом хлеб, ее зажаренная на вертеле, прямо у моря, рыба, с одного бока почерневшая от огня и приправленная хрустящими на зубах песчинками, отлично утоляли голод, не отягощая ненужными сложностями самое простое из наших удовольствий. В какой-нибудь таверне Эгины или Фалера я наслаждался пищей настолько свежей, что она оставалась божественно чистой, несмотря на грязные руки слуги, настолько скромной и при этом сытной, словно она заключала в себе самую сущность бессмертия. Мясо, изжаренное вечером после охоты, тоже таило в себе нечто почти сакраментальное, возвращавшее нас к первобытным временам, к исконным корням народов и племен.

Вино приобщает людей к вулканическим тайнам земли, к скрытым в ней минеральным богатствам: чаша самосского вина, выпитая в яркий солнечный полдень или, наоборот, зимним вечером, когда ты устал, и мгновенно наполняющая тебя ощущением приятного тепла в желудке и бодрящего жара во всем теле, одаряет нас чувством почти священным, порой даже

¹⁰ Известны по крайней мере три человека по имени Апиций, славившиеся как моты и гурманы и жившие соответственно в начале I в. до н.э., на рубеже н.э. и при Траяне. (О последнем и идет речь в комментируемой фразе.) Некому Апицию приписывалась также знаменитая римская поваренная книга, составленная в III в. н.э. Имя, таким образом, было, скорее всего, нарицательным.

¹¹ Деталь, совершенно нетипичная для римского аристократа, призванная подчеркнуть причудливый характер «античного денди».

слишком сильным для человеческой головы; выходя из пронумерованных римских подвалов, я уже не испытываю этого ощущения во всей его чистоте, и педантизм знатоков изысканных вин меня раздражает. С еще большим благоговением пью я воду; когда мы зачерпываем ее ладонью или припадаем к источнику, в нас входят таинственные соли земли и излившийся с неба дождь. Но и вода теперь, при моей болезни, стала для меня запретной радостью, мне и здесь предписано строгое воздержание. И все-таки даже в агонии, сквозь горечь последних микстур, я буду пытаться почувствовать на губах ее пресную свежесть.

В свое время я пробовал было воздерживаться от мяса – в духе тех философских школ, которые проповедуют, что нужно испытать на себе все существующие режимы питания; позже, в Азии, я видел, как индийские гимнософисты¹² отворачивались от дымящихся ягнят и газельных туш, которые предлагались гостям в шатрах Хосрова¹³. Но этот обычай, столь привлекательный для твоей юношеской суровости, требует хлопот еще более обременительных, нежели чревоугодие и гурманство; он слишком резко отделяет нас от большинства людей в одном из главных телесных отправлениях, которое почти всегда происходит публично и чаще всего подчинено велениям государственности или дружбы. Я предпочел бы всю жизнь питаться одними цесарками и жирной гусятиной, только бы не давать моим гостям повода обвинять меня за каждой трапезой в том, что я чванюсь перед ними своим аскетизмом. Мне и без того бывало нелегко с помощью горстки сушеных фруктов и единственной чаши вина, которое я медленно цедил целый вечер, скрывать от моих сотрапезников, что фигурные торты приготовлены моим поваром не столько для меня, сколько для них, и что я давно равнодушен ко всем этим яствам. Государь здесь лишен той свободы действий, какая есть у философа: он не может себе позволить отличаться от окружающих по многим вопросам одновременно, а боги знают, что вопросы, по которым я расхожусь с людьми, и так уж чересчур многочисленны, хоть я и льщу себя надеждой, что многие из них остались незамеченными. Что же касается религиозных сомнений гимнософиста и его отвращения к окровавленному мясу, меня это, может быть, и растрогало бы, если бы мне не приходилось задаваться вопросом: чем страдания травы, которую косят, так уж разнятся от страданий овец, которых режут, и не объясняется ли наш ужас перед убийством животных прежде всего тем, что мы с нашей чувствительностью принадлежим к одному с ними царству? Но в некоторые моменты своей жизни, например в периоды ритуальных постов или во время приобщения к таинствам, мне довелось познать не только преимущества, но также и опасности, какие представляют собой различные формы воздержания или даже добровольного изнурения плоти, познать те состояния, близкие к помутнению рассудка, когда тело входит в чуждый ему мир, предвосхищающий холодную бесплотность смерти. В иные минуты этот опыт позволял мне прикоснуться к идее постепенного самоубийства, к идее кончины путем истязания плоти, которой были одержимы некоторые философы, к этому безудержному плотскому разгулу наизнанку, доводящему человеческое начало до полного уничтожения. Но я никогда не любил разделять до конца какую бы то ни было доктрину, и мне не хотелось бы, чтобы укоры совести отняли у меня право объедаться колбасами, если бы на меня вдруг напало такое желание или если б одна только эта еда оказалась у меня под рукой.

Киники и наставники мудрости¹⁴ согласны между собою в том, что любовные наслаждения – радости грубые, и помещают их в один ряд с удовольствиями, доставляемыми питьем и едой, объявляя их, однако, менее необходимыми, поскольку без радостей любви человек может якобы обойтись. От наставника мудрости я готов ожидать чего угодно, но меня удивляет, что так заблуждаются киники. Остается предположить, что и те и другие преисполнены страха

¹² Гимнософистами греки называли древнеиндийских философов, проповедовавших аскетизм.

¹³ В описываемую эпоху Парфянское царство состояло из нескольких областей, во главе которых стоял свой правитель; Хосров был одним из них. Центрами его державы были Ктесифон и Селевкия Вавилонская.

¹⁴ Имеются в виду лица самого разного социального уровня – от сенаторов-консуляриев до отпущенных на волю греческих рабов, – проповедовавшие духовную независимость человека от страха, страданий и жизненных тягот.

перед терзающими их демонами, с которыми они борются или перед которыми пасуют, и стараются принизить свое наслаждение, дабы отнять у него грозную силу, под бременем которой они изнемогают, и лишит его странной таинственности, в которой они видят свою погибель. В правомерность приравнивания любви к чисто физическим наслаждениям (если допустить, что таковые вообще существуют) я поверю в тот день, когда увижу, как гурман, сидя перед своим излюбленным блюдом, рыдает от восторга, словно любовник на юном плече. Из всех наших утех только любовь способна потрясать душу, и только в любви мы всецело отдаемся исступлению плоти. Совсем необязательно, чтобы человек, пьющий вино, непременно терял рассудок, однако не теряющий разума любовник отказывает своему богу в должном повиновении. Во всех прочих сферах воздержание или невоздержанность, завлекая в свои сети человека, имеют дело лишь с ним одним, без партнеров; любое же проявление чувственности (если не считать случая Диогена¹⁵, ограничения которого и самый характер рассуждений говорят за себя) ставит нас перед лицом Другого, неминуемо требуя от нас выбора. Я не знаю иных областей бытия, где поступки человека диктовались бы побуждениями более простыми и более непререкаемыми; где избранный нами объект оценивался бы более точно, в зависимости от истинного веса доставляемых им наслаждений; где любитель докапываться до сути вещей имел бы больше возможностей судить о человеке в его первоизданном виде. В любви меня поражает все, начиная с обнаженности, которая подобна обнаженности в смерти, и до смирения, которое глубже, чем смирение людей, потерпевших поражение в битве или возносящих молитвы богам; я всякий раз изумляюсь этим сложнейшим комбинациям отказов, боязни, великодушных порывов, всей этой бесконечной череде жалких признаний, хрупкой лжи, пылких уступок, всему этому множеству связей, которые образуются между моими наслаждениями и наслаждениями другого существа, связей, которые невозможно оборвать и которые, однако, так быстро развязываются. Эта таинственная игра, где любовь к телу превращается в любовь к личности, мне всегда представлялась восхитительной и достойной того, чтобы посвятить ей часть своей жизни. Слова обманчивы, потому что слово «наслаждение» выражает противоречивые вещи, вмещающая в себя понятия теплоты, нежности, телесной близости и в то же время жестокости, агонии, крика. Непристойная фраза Посидония¹⁶ о соприкосновении двух частиц плоти, которую, помнится, ты с прилежанием примерного ученика переписывал в свою школьную тетрадь, помогает пониманию феномена любви не больше, чем прикосновение пальца к струне – постижению таинства¹⁷ звуков. Эта фраза оскорбительна даже не для сладострастия, а для самого тела, для этого механизма из мускулов, крови и кожи, этого багряного облака, душа которого – молния.

И я признаю, что разум впадает в смущение, сталкиваясь с чудом любви, с этим странным наваждением, из-за которого та самая плоть, которой мы уделяем так мало забот, когда она составляет наше собственное тело, и которая беспокоит нас только тогда, когда ее нужно мыть, кормить и, если возможно, избавить от страданий, может внушать нам такое страстное желание ласк только потому, что она одухотворена индивидуальностью, отличной от нашей, и потому, что обладает какими-то черточками красоты, по поводу которых, впрочем, самые лучшие судьи неспособны прийти к единому мнению. Здесь человеческая логика бессильна – так же, как в постижении Тайн. Народная традиция не ошиблась, усмотрев в любви одну

¹⁵ Речь идет о греческом философе-кинике Диогене Синопском (404–323 гг. до н.э.), доведшем до предела учение о духовной свободе, которая обретается через отказ от всех потребностей, кроме природно обусловленных.

¹⁶ Посидоний (135 (?) – 51 гг. до н.э.) – крупнейший представитель греческой стоической философии своей эпохи, оказавший сильное влияние на духовную жизнь Рима. Жил и учил на о. Родос, где его слушал, в частности, Цицерон. Какая фраза из его многочисленных сочинений имеется в виду, неясно.

¹⁷ Начиная с I в. в Риме все шире распространяются мистические восточные культы, предполагавшие сложные обряды посвящения, погружение в экстатическое состояние, умерщвление плоти и т.д. Адриан сполна отдал дань этим увлечениям (см. выше упоминание о «приобщении к таинствам» и ниже – о культе Митры).

из форм посвящения, одну из точек соприкосновения с сокровенным и святым. Чувственный опыт сравним с приобщением к Тайнам еще и потому, что первое знакомство с ним производит на непосвященного впечатление обряда, в той или иной мере страшного, постыдным образом несхожего с привычными отправлениями – сном, едой, питьем, впечатление чего-то такого, что таит в себе издевку, ужас и позор. Так же, как пляска менад или исступление корибантов, наша любовь уводит нас в совершенно иной мир, куда нам в другое время вход запрещен и где мы сразу же перестаем ориентироваться, как только наш пыл угасает или наслаждение приходит к развязке. Пригвожденный к любимому телу, как распятый к своему кресту, я постигал секреты бытия, но моя память с той поры уже притупилась, повинувшись тому же закону, в силу которого больной, исцелившись, забывает о таинственных свойствах своего недуга, узник, отпущенный на свободу, не помнит уже о перенесенных им пытках, а триумфатор, отрезвев, – о своей славе.

Иногда мне рисовалась в мечтах стройная система человеческого знания, основанного на эротическом опыте, теория соприкосновения, в котором тайна и достоинство другого существа состоят именно в том, что оно предоставляет опорный пункт для постижения другого мира. Наслаждение стало бы, согласно этой философии, особой формой, более полной и необычной, этого сближения с Другим, а также стало бы мастерством, с помощью которого мы познаём то, что находится вне нас. При встречах, которые никак не назовешь чувственными, телесное соприкосновение иной раз рождает или губит эмоции: противная рука старухи, подающей мне прошение, влажный лоб моего умирающего отца, обмытая рана на теле солдата. Отношения, даже самые интеллектуальные или самые безразличные, выявляются через посредство целой системы телесных сигналов: внезапно просветлевший взгляд трибуна, которому ты утром перед сражением объясняешь задуманный тобой маневр, безличное приветствие подчиненного, который, завидев тебя, застывает в позе, выражающей готовность к повиновению, дружелюбие в глазах раба, когда я благодарю его за то, что он мне подал поднос, или понимающая улыбка на лице старого друга, когда ты даришь ему греческую камею. При общении с большинством людей самого легкого, самого поверхностного из подобных контактов бывает достаточно, чтобы в нас затеплилось или даже вспыхнуло ярким светом желание. И вот все твои помыслы устремляются к единственному и неповторимому существу, множась и обступая его сплошным кольцом осады; каждая частичка чьего-то тела обретает для тебя такое же значение, как черты чьего-то лица, и переворачивает всю твою душу; одно-единственное на свете создание уже не просто вызывает у тебя раздражение, радость или тоску, но начинает неотступно преследовать тебя, точно музыка, и мучит тебя, как нерешенная проблема; вот это создание уже переместилось с периферии твоего мира в самый его центр и стало тебе гораздо нужнее, чем ты сам, – и тогда свершается чудо, в котором я вижу скорее завоевание плоти духом, нежели простую игру плоти.

Такие взгляды на любовь могли бы сделать из меня профессионального оболъстителя. И если этого не произошло, то, наверное, лишь потому, что я выбрал себе иную стезю, пусть не лучшую, чем эта, но совсем на нее не похожую. Искусство оболъстителя требует если не таланта, то, во всяком случае, больших хлопот и даже ухищрений, к чему я всегда чувствовал себя неспособным. Эти расставляемые повсюду ловушки, всегда одни и те же, эта неизбежная банальность, сводящаяся к постоянным подступам и подходам, где даже одержанная тобой победа уже есть неодолимый предел, скоро наскучили мне. Мастерство великого оболъстителя требует переходить от одного предмета страсти к другому легко и беззаботно, а этого я не умею; во всяком случае, чаще бросали меня, чем я кого-то бросал; и я никогда не понимал, как можно пресытиться любимым существом. Стремление бережно подсчитывать все богатства, которые приносит нам каждая новая любовь, видеть, как она меняется и, может быть, даже стареет, плохо вяжется с большим количеством побед. Когда-то я считал, что чувство прекрасного сможет заменить мне целомудренную добродетель, предохранит меня от слишком грубых соблазнов. Но я ошибался. Любитель красоты кончает тем, что находит ее повсюду и обнаруживает

золотые жилы в самой пустой породе; перебирая в руках грязные обломки былых шедевров, он испытывает наслаждение знатока, собирателя бесценных гончарных изделий, которые считаются всеми грубой поделкой. Более серьезным тормозом для человека утонченного является высокое положение, которое он занимает в обществе; неограниченная власть таит в себе опасность угодничества и лжи со стороны его подданных. Мысль о том, что какой-то человек в моем присутствии притворяется и фальшивит, вызывает у меня к нему только жалость, презрение или ненависть. От этих досадных неудобств моей счастливой судьбы я страдал не меньше, чем бедняк от своей нищеты. Еще немного, и я примирился бы с унылой ролью, которая состоит в том, что ты действуешь с видом оболыстителя, прекрасно зная, что никто не посмеет тебя ослушаться. Но все это было омерзительно и просто глупо.

Может быть, всем этим сложным и заманчивым планам оболыщения я предпочел бы в конце концов убогую реальность разврата, если бы и здесь не царила ложь. Я готов допустить, что проституция – такое же искусство, как массаж или укладка волос, но я с трудом переношу даже общество массажиста или брадобрея. Нет на свете ничего более грубого, чем наши приспешники. Подобострастного взгляда хозяина таверны, который припас для меня лучшего вина и, следовательно, отказывает в нем кому-то другому, было достаточно в дни моей юности, чтобы отбить у меня охоту к римским развлечениям. Мне было противно, что какой-то субъект считает себя вправе угадывать мои желания, предвидеть их, автоматически применяясь к тому, что он счел моим выбором. Это дурацкое и искаженное отражение меня самого, которое показывал мне в такие минуты чей-то мозг, могло склонить меня к унылой жизни аскета. Если легенда, повествующая о диких выходках Нерона или об утонченной изысканности Тиберия, ничего не преувеличивает, этим великим пожирателям удовольствий нужны были не только железные нервы, чтобы справляться с таким сложным конгломератом всяческой челяди, но и редкое презрение к людям, чтобы их спокойно терпеть, зная, что все они насмеются над тобой или получают от тебя корысть. И все же, если я почти полностью отказался от чересчур бездуховных форм наслаждения или слишком рано в них не погряз, я обязан этим скорее удаче, нежели собственной добродетели. Я мог бы поддаться этим порокам и на старости лет, как и любому другому виду слабости или изнеможения. Болезнь и теперь уже близкая смерть спасут меня от монотонного повторения одинаковых жестов, напоминающих затверживание вслух урока, который ты и так знаешь наизусть.

Из всех постепенно покидающих меня радостей одной из самых драгоценных, но и самых естественных, является сон. У человека, который спит мало и плохо, опираясь на бесчисленные подушки, достаточно времени для того, чтобы поразмыслить над этим странным наслаждением. Конечно, сон самый прекрасный – это сон, представляющий собою дополнение к любви, мудрое отдохновение, воплощенное в двух спящих телах. Но сейчас меня занимает другое – неповторимая тайна сна, вкушаемого ради него самого, неотвратимое и опасное погружение вечерами, когда мы обнажены, одиноки и безоружны, в океан, где все становится сразу другим – цвета, плотность предметов, самый ритм дыхания – и где мы часто встречаем умерших. Успокаивает лишь то, что из сна мы в конце концов выходим, и выходим несколько не изменившимися, поскольку некий странный запрет мешает нам уносить из сновидений четкие очертания их образов. Успокаивает и то, что сон исцеляет нас от усталости, но он прибегает для этого к самому радикальному способу лечения: мы словно на какое-то время вообще перестаем существовать. Особое удовольствие и искусство заключается в том, чтобы сознательно отдаваться этой блаженной бессознательности и по своей воле делаться более слабым, более тяжелым, более легким, более неопределенным и зыбким, чем ты есть. Я еще вернусь к удивительному племени существ, населяющих наши сны. Сейчас мне хочется сказать об опыте сна и пробуждения в их чистом виде, ибо они граничат со смертью и с воскресением из мертвых. Я пытаюсь вновь пережить ощущения подростка, когда сон сражает тебя наповал и ты одетым засыпаешь над книгами, мгновенно переносясь из мира математики и юриспруденции

в глубины крепкого и сладкого сна, так плотно насыщенного неизрасходованной энергией, что ты сквозь закрытые веки смакуешь сладостную суть бытия. Я вспоминаю, как меня внезапно смаривал сон в лесу, прямо на земле, после утомительных дней охоты, и будил только лай собак или лапы, упирающиеся в мою грудь. Забытие бывало таким полным, что я должен был каждый раз просыпаться совсем другим человеком, и меня удивлял, а временами печалил этот неукоснительно строгий порядок, который из таких далей опять и опять приводил меня в ту же крохотную ячейку человечества, какой являюсь я сам. Как определить их, эти неповторимые черточки, которыми мы больше всего дорожим, потому что они так мало значат для нас, спящих, и которые, прежде чем с сожалением возвратиться в телесный облик Адриана, мне удавалось уловить на какую-то долю секунды, ощутить себя другим человеком и словно бы прикоснуться к чужой, не имеющей прошлого жизни?

С другой стороны, болезнь и старость тоже полны чудес и получают от сна благодатные дары иного рода. Около года назад, после на редкость тяжелого дня, проведенного в Риме, я изведаль одну из тех передышек, при которых истощение сил производит такие же – а вернее, совсем иные – чудеса, что и неистощимые запасы сил в молодости. Я теперь приезжаю в город редко¹⁸ и в каждый приезд стараюсь выполнить как можно больше дел. Этот день был забит до отказа: после заседания Сената – судебная процедура; за ним последовала бесконечно долгая дискуссия с квесторами¹⁹, потом – религиозная церемония, которую невозможно сократить, и к тому же она проходила под дождем. Я сам приблизил вплотную друг к другу все эти занятия, чтобы не оставлять времени для пустых разговоров и докучливой лести. Обратный путь верхом на коне был одной из последних этих поездок. Я вернулся на Виллу измученным, болезненным и таким продрогшим, каким человек бывает только тогда, когда кровь уже не так бодро бежит по жилам и не согревает тело. Целер и Хабрий бросились мне помогать, но заботливость может быть утомительной, даже когда она искренна. Уйдя к себе, я проглотил несколько ложек горячей каши, которую приготовил себе сам, отнюдь не из подозрительности, как можно было бы подумать, а потому, что тем самым я доставлял себе роскошь побыть в одиночестве. Я лег; казалось, сон был так же далек от меня, как здоровье, молодость и сила. Я уснул. Песочные часы показали, что я спал меньше часа. Краткий момент полного забытия становится в моем возрасте эквивалентом того сна, который длился когда-то добрую половину оборота ночных светил; мое время измеряется теперь гораздо меньшими единицами. Но этого часа оказалось достаточно, чтобы произошло довольно скромное и все же поразительное чудо: тепло моей крови согрело мне руки; мое сердце и легкие опять принялись усердно работать; жизнь снова струилась во мне, как источник не очень обильный, однако надежный. За короткое время сон восстановил мои силы с той же беспристрастностью, с какою он мог и усугубить мое недомогание. Потому что великий восстановитель сил – божество, считающее необходимым, чтобы его благодеяния изливались на спящего вне всякой зависимости от того, кто этот спящий; так воде, наделенной целебными свойствами, безразлично, кто пьет из источника.

Но если мы так редко задумываемся над явлением, которое поглощает не менее трети всей нашей жизни, это объясняется тем, что оценить его благотворность можно, лишь обладая некоторой скромностью. Погрузившись в сон, Гай Калигула²⁰ и праведник Аристид становятся равными друг другу, а я слагаю с себя свои великие и суетные привилегии и уже не отличаю себя от черного пса, который спит на моем пороге. Что такое бессонница, как не маниакальное упрямство, с каким наш разум фабрикует мысли, цепочки рассуждений, силло-

¹⁸ См. прим. 4.

¹⁹ Квесторы – младшие сенатские должностные лица, в числе прочего ведавшие и финансами. Здесь имеется в виду именно эта сторона их деятельности: денежное хозяйство часто вызывало трения между императором и Сенатом.

²⁰ Гай Калигула – римский император (37–41 гг.), известный своими террористическими эксцессами по отношению к Сенату. Аристид (540–467 гг. до н.э.) – афинский военный и политический деятель, прославившийся своей честностью и прямоотой и заслуживший в народе прозвище «Справедливый».

гизмы и дефиниции, и как не его нежелание отказаться от власти в пользу божественной глупости сомкнутых век или мудрого безумия сновидения? Человек, который не спит (у меня в последние месяцы было предостаточно возможностей проверить это на себе самом), более или менее осознанно не хочет доверяться потоку жизни. Брат Смерти. И Сократ заблуждается, его фраза – всего лишь риторическая фигура. Я начинаю понимать смерть; у нее другие секреты, еще более странные для нас, живущих. И все-таки тайны сна, тайны отсутствия и временного забвения, так запутанны и так глубоки, что мы ощущаем, как где-то сливаются струи светлой и темной воды. Мне всегда было неприятно смотреть, как спят люди, которых я любил; я знаю, они отдыхали от меня и они от меня ускользали. Человек обычно стыдится своего лица, когда оно измято сном. Сколько раз, встав пораньше, чтобы поработать или почитать, я приводил в порядок скомканные подушки, разбросанные одеяла – эти почти непристойные свидетельства наших встреч с небытием, приметы того, что каждую ночь нас уже нет.

Это письмо, к которому я приступил...

Это письмо, к которому я приступил, чтобы уведомить тебя о ходе моей болезни, понемногу превратилось в средство отдохновения для человека, которому уже не хватает сил непрерывно заниматься государственными делами, в доверенные письмам размышления больного, который как бы дает аудиенцию своим воспоминаниям. Теперь я пойду еще дальше: я хочу рассказать тебе мою жизнь. Да, конечно, в прошлом году я составил официальный отчет обо всех моих деяниях, и мой секретарь Флегонт заверил его своей подписью. Я старался как можно менее лгать в этом отчете. Но общественные интересы и требования приличия все же вынудили меня по-иному представить некоторые факты. Истина, которую я собираюсь поведать теперь, не содержит в себе ничего непристойного; она непристойна лишь постольку, поскольку людей коробит всякая высказанная вслух правда. Я не жду, что ты в свои семнадцать лет что-нибудь в ней поймешь. Однако я рассчитываю просветить тебя, а также вызвать у тебя возмущение. Наставники, которых я сам для тебя выбрал, дали тебе то суровое, строгое, может быть, даже чересчур келейное воспитание, которое, я надеюсь, в конечном счете обернется великим благом для тебя и для государства. Я предлагаю тебе в качестве дополнения к моему официальному отчету рассказ, лишенный предвзятости и отвлеченного морализирования и основанный на личном опыте человека, каким являюсь я сам. Я не знаю, к каким выводам этот рассказ меня приведет. Я рассчитываю, что это исследование фактов поможет мне точнее определить самого себя, может быть, вынести себе приговор и, во всяком случае, прежде чем я умру, лучше себя понять.

Как и у всех людей, в моем распоряжении только три средства для оценки человеческого существования: изучение самого себя, самый трудный и самый опасный, но в то же время самый плодотворный из всех методов; наблюдение над людьми – а им чаще всего удается скрывать от нас свои тайны или заставить нас верить, что у них эти тайны есть; и, наконец, книги, с теми смещениями перспективы, которые непременно возникают между строк. Я прочитал почти все, что написали наши историки, наши поэты и даже наши баснописцы, хотя у последних репутация писателей фривольных, и книгам обязан я сведениями, быть может, более обширными, чем те, которые я извлек из достаточно разнообразных ситуаций своей собственной жизни. Написанное письмо научило меня слушать человеческий голос, так же как великая неподвижность статуй оценивать значение жестов. А жизнь, напротив, многое прояснила для меня в книгах.

Но эти писатели, даже самые искренние, лгут. Менее умелые из них, не находя слов и фраз, которыми было бы можно выразить жизнь, создают лишь бледное и жалкое подобие жизни; такие, как Лукан²¹, утяжеляют и усложняют жизнь, наделяя ее торжественностью, которой в ней нет; другие, напротив, подобно Петронию²², облегчают ее, делают из нее что-то вроде пустого скачущего мяча, который легко бросать и ловить в лишенном тяжести мире. Поэты переносят нас в мир более обширный или прекрасный, более яркий или мягкий, чем наш, совершенно на наш не похожий и практически почти необитаемый. Философы, дабы изучить действительность в чистоте и первозданности, заставляют ее претерпевать почти те же превращения, какие огонь или молот производят с твердыми телами; никакое существо, никакой факт не могут в этом пепле и в этих осколках сохраниться такими, какими мы их знаем. Историки, трактуя прошлое, предлагают нам его в виде систем слишком законченных, выстраивают

²¹ Марк Анней Лукан (39–65 гг.) – римский поэт, наиболее известна его эпическая поэма «Фарсалия» – о гражданской войне в Риме между Помпеем и Юлием Цезарем в 50–48 гг. до н. э.

²² Гай Петроний Арбитр (?–65 гг. н. э.) – сенатор, консул и приближенный императора Нерона, прославившийся романом о похождениях группы мошенников, изображенных на фоне широкой картины морального разложения римского общества. Условное, но ныне повсеместно принятое его название – «Сатирикон».

цепочки причин и следствий, слишком точных или слишком понятных, чтобы они могли быть до конца истинными; они по своему усмотрению перекраивают этот покорный мертвый материал, и я твердо знаю, что даже от Плутарха всегда будет ускользать подлинный Александр. Сказочники, сочинители историй на милетский лад²³ лишь раскладывают на прилавке, как мясники, куски мяса, облепленные мухами. Мне очень трудно было бы жить в мире, лишенном книг, но реальной жизни в них нет, потому что она предстает в них не вся целиком.

Непосредственное наблюдение над людьми – метод еще менее совершенный, чаще всего ограничивающийся суждениями низкими или пошлыми, какими обычно питается людское недоброжелательство. Ранг, положение, занимаемое в обществе, превратности судьбы – все это сокращает поле зрения наблюдателя человеческих нравов; у моего раба совершенно другие возможности для того, чтобы изучать меня, нежели те, какими располагаю я, чтобы изучать его; но они у него так же малы, как и мои. Старый Эвфорион вот уже двадцать лет подает мне склянку с маслом и губку для растирания, но мое знание о нем не выходит за пределы его службы, а его обо мне – за пределы моей ванной, и любая попытка узнать еще что-либо привела бы и императора, и раба лишь к нескромности. Почти все, что мы знаем о других, поступает к нам из вторых рук. Если человек исповедуется перед вами, он старается представить себя в положительном свете; его защитительная речь уже готова заранее. Если же мы наблюдаем его, он уже не один. Меня упрекали, что я люблю читать донесения римской стражи; я постоянно обнаруживаю в них поразительные вещи; люди открытые или внушающие подозрение, незнакомые или близкие – все они в равной мере удивляют меня, их безрассудства служат для меня оправданием моих безрассудств. Я не перестаю изумляться тому, как разительно отличается одетый человек от нагого. Но все эти с такой наивной обстоятельностью составленные донесения, увеличивая груды моих досье, ни на йоту не облегчают мне вынесения окончательного приговора. Тот факт, что судья, на вид такой суровый и неподкупный, совершил преступление, отнюдь не помогает мне лучше его узнать. Отныне передо мной вместо одного факта – два: то впечатление, какое производит на меня судья, и совершенное им преступление.

Что касается наблюдения над самим собой, я заставляю себя это делать хотя бы для того, чтобы состоять в добрых отношениях с человеком, рядом с которым я вынужден жить до конца своих дней; но и столь близкое шестидесятилетнее знакомство таит в себе немало возможностей ошибиться. Когда я заглядываю в глубины своей души, мое знание о самом себе зыбко, неуловимо, расплывчато, скрытно и похоже на сообщничество. Если же я пытаюсь взглянуть на себя незаинтересованным взглядом, это знание оказывается столь же холодным, как теории чисел; мне приходится напрягать все силы ума, чтобы увидеть свою жизнь с наибольшего удаления, с наибольшей высоты, и тогда она предстает предо мной точно жизнь какого-то другого человека. Но оба эти способа познания трудны и требуют один погружения в себя, другой – выхода наружу. Повинуясь инерции, я, как и все, стараюсь заменить их более привычными средствами – таким представлением о своей жизни, которое слегка подправлено оглядкой на образ, сложившийся обо мне у людей, заменить суждениями, изготовленными заранее, но изготовленными плохо, суждениями, подобными манекену, к которому неумелый портной усердно прилаживает предназначенную для нас ткань. Снаряжение несовершенное; инструменты тупые; но других у меня нет – и с их помощью я кое-как формирую идею своей человеческой судьбы.

Когда я рассматриваю свою жизнь, меня ужасает ее неопределенность. Жизнь героев, такая, как нам рассказывают о ней, всегда проста; она устремлена прямо к цели, точно стрела. Большинство людей тоже любит сводить свою жизнь к какой-нибудь формуле, иногда к похвальбе или жалобе, но почти всегда к обвинению и упреку; память услужливо подсовывает

²³ Т.е. римские писатели, подражавшие Аристиду Милетскому (II в. до н.э.) – автору «Милетских рассказов» весьма нескромного содержания.

им образ существования, легко объяснимый и четкий. Контуры моей жизни менее отчетливы. Как это часто бывает, с большей точностью ее можно определить, если говорить о том, чем я не был: хороший солдат, но отнюдь не великий полководец; любитель искусства, но отнюдь не тот артист, каким, умирая, мнил себя Нерон²⁴; человек, способный на преступление, но отнюдь преступлениями не отягченный. Временами я думаю, что великие люди вернее всего характеризуются так: героизм, проявленный ими в чрезвычайной ситуации, остается в них на всю жизнь. Они – наша полная противоположность, наши антиподы. Я поочередно оказывался в различных чрезвычайных ситуациях, но не мог удержаться на их высоте; жизнь всегда сталкивала меня вниз. Однако и похвастаться тем, что, как добродетельный землепашец или носильщик, я всегда держался золотой середины, я тоже не могу.

Мне кажется, что ландшафт моих дней, подобно горному ландшафту, складывается из самых разных пород, в беспорядке нагроможденных одна на другую. Характер мой тоже представляется мне неоднородным: в нем перемешаны в равной мере инстинкт и культура. Там и сям на поверхность выходят гранитные глыбы неизбежного; куда ни кинь взгляд, везде обвалы случайного. Я снова и снова пытаюсь пройти вдоль своей жизни, найти в ней какой-то план, проследить от самых истоков золотую или свинцовую жилу, обнаружить, где берет свое начало подземная река, но весь этот обманчивый план – просто иллюзия памяти. Время от времени в какой-нибудь встрече, или в предзнаменовании, или в четкой последовательности событий мне видится перст судьбы, но слишком много дорог никуда не ведет, слишком многое не поддается подсчетам. Во всем этом многообразии, во всей этой сумятице я ощущаю, конечно, присутствие какой-то личности, но облик ее почти всегда искажен давлением обстоятельств; ее черты всегда затуманены, как лицо, отраженное в воде. Я не из тех, кто говорит, что его поступки непохожи на него самого. Они непременно должны быть на меня похожи, потому что они – единственная мера, какой меня можно измерить, единственный способ, каким я могу запечатлеть себя в памяти людей и даже в своей собственной памяти, потому что невозможность и дальше выражать себя в поступках и через них изменяться самому – это, пожалуй, и есть то основное, чем смерть отличается от жизни. Но между мной и моими поступками, которые создали меня, существует необъяснимый разрыв. О нем свидетельствует тот факт, что я испытываю постоянную потребность взвесить их, объяснить, отчитаться в них перед самим собой. Теми из моих трудов, которые длились недолго, можно, разумеется, пренебречь, но ведь и дела, занимавшие меня на протяжении всей жизни, тоже немногого стоят. Вот и сейчас, например, когда я пишу эти строки, мне вовсе не кажется таким уж важным то, что я был императором.

Впрочем, три четверти моей жизни не поддаются проверке делами, множество моих намерений, желаний, даже проектов расплывчаты и туманны, как призраки. Но и все остальное, даже более осязаемая часть жизни, в той или иной мере подтвержденная фактами, вряд ли выглядит намного отчетливей, и последовательность событий здесь так же неопределенна, как в снах. У меня есть своя личная, собственная хронология, и она совершенно не согласуется с той, где отсчет времени ведется от основания Рима или по Олимпиадам. Пятнадцать лет, проведенных мной в армии, промелькнули быстрее, чем одно утро в Афинах; есть люди, с которыми я встречался всю жизнь и которых я не узнаю в аду. Пространственные измерения тоже смещаются: Египет соседствует с Темпейской долиной²⁵, я не всегда пребываю в Тибуре, когда я в нем нахожусь. То вдруг жизнь моя представляется мне такой банальной, что она выглядит недостойной не только описания, но даже просто внимательного рассмотрения, и для меня она тогда не более интересна, чем жизнь первого встречного. А то она кажется мне единственной в своем роде и в силу этого обесцененной и бесполезной, потому что ее невозможно

²⁴ Римский император Нерон (правил с 54 по 68 г.) много выступал на сцене как актер и певец. Свергнутый в июне 68 г., он был проклят Сенатом и принужден к самоубийству. Согласно преданию, перед смертью Нерон воскликнул: «Какой великий артист погибает!»

²⁵ Узкая живописная долина между горами Олимп и Осса в Фессалии – в Северной Греции.

свести к опыту большинства людей. Ничто не может объяснить моей сути: моих пороков и добродетелей для этого явно недостаточно; мое счастье пригодно здесь несколько больше, но счастье выпадало мне в жизни нечасто, с большими перерывами, и не всегда для этого были достойные поводы. Однако человеческому уму претит быть игрушкой случая, мимолетным плодом стечения обстоятельств, неподвластных не только ни одному божеству, но и самому человеку. Определенная часть каждой, даже не стоящей внимания жизни проходит в поисках смысла существования, отправных точек, корней. И мое бессилие их обнаружить склоняет меня к магическим объяснениям, к попыткам отыскать в божественных откровениях то, что не в силах мне дать здравый смысл. Когда все сложнейшие вычисления и выкладки оказываются обманчивыми, когда даже философы больше не могут нам ничего предложить, тогда позволено обратиться к толкованию щебета птиц или далекого хода светил.

VARIUS MULTIPLEX MULTIFORMIS ПЕСТРЫЙ, ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ, СЛОЖНЫЙ

Мой дед Маруллин верил в светила. Этот глубокий старик, пожелтевший и высохший от прожитых лет, питал ко мне такую же привязанность без ласки, без всяких внешних проявлений, даже почти без слов, с какой он относился к животным на своей ферме, к своей земле, к своей коллекции упавших с неба камней. Он происходил от длинной вереницы предков, обосновавшихся в Испании со времен Сципионов²⁶. Принадлежал он к сенаторскому сословию и был третьим, имевшим это звание; до этого наша семья числилась по сословию всадников. Он принимал участие, впрочем довольно скромное, в государственных делах при Тите. Этот провинциал не знал греческого языка и говорил на латыни с гортанным испанским выговором, который он передал и мне и из-за которого надо мной потом нередко смеялись. Однако ум его не был совершенно неразвит; после смерти у него нашли сундук, полный математических инструментов и книг, к которым он последние двадцать лет не притрагивался. Он обладал познаниями полунаучными, полукрестьянскими, той смесью древней мудрости и порожденных невежеством предрассудков, которая была присуща старшему Катону²⁷. Но Катон всю свою жизнь был человеком римского Сената и Карфагенской войны, типичным представителем сурового республиканского Рима. Невероятная суровость Маруллина восходила к временам более давним. Это был человек родового уклада, живое воплощение того священного и страшноватого мира, отголоски которого я впоследствии встречал у наших этрусских некромантов²⁸. Он ходил всегда с непокрытой головой, за каковую привычку потом осуждали и меня; его заскорузлые ступни обычно обходились без сандалий. Его повседневная одежда мало чем отличалась от одеяния старых нищих или неповоротливых крестьян-испольщиков, сидящих на корточках под жарким солнцем. Его считали колдуном, и деревенские жители, опасаясь его дурного глаза, обходили старика стороной. Он обладал необычайной властью над животными. Я видел, как его старческая голова осторожно и дружелюбно клонилась к гнезду гадюки, как его узловатые пальцы исполняли перед застывшей ящерицей подобие некоего танца.

В летние ночи он брал меня с собой на вершину выжженного холма наблюдать звезды. Я засыпал прямо на земле, устав считать метеоры. Он же продолжал сидеть, подняв к небу голову и еле заметно поворачивая ее вслед за светилами. Должно быть, он знал системы Филолая и Гиппарха, а также систему Аристарха Самосского, которую я позже предпочитал всем остальным, но эти умозрительные построения уже не интересовали его. Звезды были для него пылающими точками, объектами того же порядка, что и камни или медлительные насекомые, из которых он также извлекал предзнаменования; они были частью волшебной вселенной, в которой была заключена воля богов, влияние демонов и судьба, уготованная людям. Он составил мой гороскоп. Однажды ночью он пришел ко мне, разбудил и возвестил мне владычество над миром – с тем же ворчливым немногословием, с каким он предсказал бы крестьянам хороший урожай. Потом, охваченный сомнениями, направился к очагу, где в холодные часы тлел хворост, поднес к моей руке головешку и прочитал на пухлой ладони одиннадцатилетнего ребенка подтверждение линий, начертанных в небесах. Мир представал перед ним как единое целое;

²⁶ Т. е. с конца III в. до н. э. (см. прим. 7.)

²⁷ Марк Порций Катон Старший (234–149 гг. до н. э.) – римский сенатор, полководец, консул (195 г.), цензор (184 г.); приведенная здесь характеристика его мировоззрения основана главным образом на его сочинении «О сельском хозяйстве».

²⁸ Цивилизация Этрурии, области, расположенной к северу от Рима между реками Тибром и Арно, морем и Апеннинскими горами, оказала мощное воздействие на материальную и духовную культуру римлян. От этрусков римляне заимствовали, в частности, искусство прорицания (которое здесь и обозначено словом «некромантия»), многие жреческие обряды, отличавшиеся странностью, загадочностью и подчас зловещей жестокостью.

рука подтверждала решение светил. Эта весть потрясла меня меньше, чем можно было предположить: ребенок обычно готов ко всему. Но думаю, что безразличие к настоящему и будущему, свойственное преклонному возрасту, заставило его вскоре забыть о своем пророчестве. Однажды утром его нашли, уже холодного, в каштановой роще на краю поместья; тело было ислекано хищными птицами. Незадолго до смерти он пытался обучить меня своему искусству, но безуспешно: мое природное любопытство сразу устремлялось к выводам, не вдаваясь в хитроумные, порою неаппетитные детали его метода. Но вкус к опасным экспериментам сохранился у меня навсегда.

Мой отец, Элий Афер Адриан, был человеком, которого погубили собственные добродетели. Его жизнь прошла в исполнении административных обязанностей, не принесших ему славы; в Сенате с его голосом никто не считался. В нарушение обычного порядка вещей, должность наместника в Африке не обогатила его. Дома, в испанской муниципии²⁹ Италике, он отдавал все свои силы улаживанию местных конфликтов. Он был человеком унылым, лишенным честолюбия, и, как это часто бывает с людьми, которые с каждым годом все больше снижают, он стал с маниакальной скрупулезностью относиться к тем ничтожным делам, к которым в конце концов свелось его существование. Я тоже испытал на себе эти достойные всяческих похвал соблазны педантизма и аккуратности. Опыт общения с людьми развил у моего отца крайнюю недоверчивость к ним; он не делал исключения даже для меня, совсем еще ребенка. Мои успехи, когда он оказывался их свидетелем, не производили на него ни малейшего впечатления; его фамильная гордость была так велика, что ему казалось невероятным допустить, будто я могу к ней что-то прибавить. Мне было двенадцать лет, когда этот измученный жизнью человек нас покинул. Моя мать замкнулась в суровом вдовстве, и с того дня, как я, вызванный своим опекуном, уехал в Рим, я больше ни разу ее не видел. До сих пор помню ее удлиненное, испанского типа лицо, отмеченное какой-то печальной мягкостью; этот образ подтверждается ее восковой маской у стены предков³⁰. У нее были маленькие ступни в узких сандалиях, как и у всех дочерей Кадикса³¹, и при ходьбе эта безупречная молодая матрона слегка покачивала бедрами, как танцовщицы ее страны.

Я часто размышлял об ошибке, которую мы совершаем, считая, что человек, семья непременно разделяют идеи или участвуют в событиях того века, в котором они живут. Отголоски римских интриг почти не доходили до моих родителей в этом глухом уголке Испании, хотя во время мятежа против Нерона мой дед оказал на одну ночь гостеприимство Гальбе³². В семье хранили воспоминание о некоем Фабии Адриане, который был заживо сожжен карфагенянами при осаде Утики³³, и еще об одном Фабии, незадачливом солдате, гнавшемся за Митридатом по дорогам Малой Азии³⁴, – о неизвестных героях жалких домашних архивов. Из писателей той поры мой отец почти никого не знал, Лукан и Сенека были ему неизвестны³⁵, хотя они были, как и мы, родом из Испании. Мой двоюродный дед Элий, человек просвещенный,

²⁹ Муниципиями назывались города Римской империи, жители которых имели свое самоуправление и пользовались правами римских граждан.

³⁰ Старинные римские роды обладали особым «правом изображений», разрешавшим им выставлять в своем доме (обычно на одной из стен парадного зала – атрия) маски предков.

³¹ Современное название древнего Гадеса – города в южной Испании, на острове Эритея (ныне Леон). На протяжении всего романа М. Юрсенар, как отмечено выше, сознательно перемешивает древние и современные географические названия.

³² Сервий Гальба, наместник провинции Тарраконская Испания, весной 68 г. поднял восстание против Нерона и двинулся на Рим через юго-восточную Испанию (где находилась Италика) и Галлию. Правил в Риме до 15 января 69 г.

³³ Скорее всего, в 203 г. до н.э., когда римляне, осаждавшие в Африке союзный Карфагену прибрежный город Утику, потерпели поражение от карфагенского флота.

³⁴ Во время войны, которую вели против Митридата VI, царя Понта, в 73–65 гг. до н.э. римские полководцы Лициний Лукулл и Помпей Великий. Несмотря на пренебрежительный тон Адриана, рассказ его призван доказать, что предки его воевали в войсках самых прославленных полководцев Рима – Сципиона, Лукулла, Помпея.

³⁵ О Лукане – см. прим. 21. Сенека (?–65 гг. н.э.) – знаменитый философ-стоик и автор трагедий. Оба происходили из испанского города Кордобы (ныне Кордова) из семьи Аннеев (Лукан был племянником Сенеки).

ограничивался в своем чтении авторами, наиболее известными в век Августа. Это презрение к современной моде оберегало моих родственников от дурного вкуса; всякая напыщенность была им чужда. Эллинизма и Востока они не знали либо относились к ним свысока, сурово нахмурившись; я думаю, на всем полуострове не было ни одной приличной греческой статуи. Экономия шла об руку с богатством; сельская неотесанность – с высокомерием, почти торжественным. Моя сестра Паулина была степенной, молчаливой и хмурой; в молодости она вышла замуж за старика. Честность в семье была безупречной, но с рабами обходились круто. Ничто не вызывало ни в ком любопытства; все мысли и суждения были такими, какие надлежало иметь гражданам Рима. И расточителем таких добродетелей, если это и в самом деле добродетели, предстояло мне стать.

Официальная версия требует, чтобы римские императоры рождались в Риме, но я родился в Италике; к этому засушливому, но плодородному краю я потом присоединил немало стран мира. Официальная версия права: она свидетельствует о том, что решения разума и воли выше обстоятельств. Подлинное место рождения человека там, где он впервые посмотрел на себя разумным взглядом, – моей первой родиной были книги. И в минимальной степени – школы. Школы в Испании носили на себе печать непринужденных провинциальных досугов. Школа Теренция Скавра в Риме давала весьма посредственные знания в области философии и поэзии, но неплохо готовила учеников к превратностям человеческого существования: учителя их тиранили с такой свирепостью, с какой я никогда бы не рискнул обращаться с людьми; каждый учитель, замкнувшись в узком мире собственных познаний, презирал своих коллег, которые тоже знали только свою дисциплину. Эти педанты до хрипоты препирались друг с другом по совершеннейшим пустякам. Соперничество за первое место, интриги, клевета – все это очень рано приобщило меня к нравам, с которыми я впоследствии сталкивался в каждом людском обществе, где мне приходилось жить; к этому надо еще прибавить жестокость детского коллектива. И все-таки я любил некоторых своих учителей, любил те странные отношения, близкие и уклончивые одновременно, которые складываются между преподавателем и учеником, и звучащий, как песня Сирен, слабый надтреснутый голос, который впервые раскрывает перед тобой красоту шедевра или глубину новой идеи. Самый великий обольститель в конечном счете не Алкивиад³⁶, а Сократ.

Методы грамматистов и риториков³⁷, быть может, вовсе не так абсурдны, как они представлялись мне в ту пору, когда я был у них в кабале. Грамматика, с ее смесью логических правил и произвольных установлений, позволяет молодому уму довольно рано ощутить то, что позже откроют ему науки о человеческом поведении – и право, и мораль, и все философские системы, в которых человек кодифицировал свой инстинктивный опыт. Что касается упражнений в риторике, когда мы поочередно были Ксерксом и Фемистоклом, Октавианом или Марком Антонием, – они опьяняли меня³⁸; я чувствовал себя Протеєм³⁹. Они научили меня проникать

³⁶ Алкивиад (452–444 гг. до н.э.) – афинский полководец и политический деятель, племянник Перикла, ученик Сократа, известный своей дерзостью и легкомыслием.

³⁷ Школы грамматиков в Римской империи примерно соответствовали нашим средним школам. В них обучались подростки 11–15 лет, основу обучения составляло комментированное чтение классических авторов – латинских и греческих. Риторские школы, предшественники позднейших университетов, предназначались для юношей 16–19 лет, здесь обучали красноречию и философии. Один из основных видов упражнения состоял в том, что ученик выступал то в роли обвинителя, то в роли защитника в вымышленных процессах, где «судили» исторических персонажей и разбирали спорные случаи в их деятельности.

³⁸ См. предыдущее примечание. Ксеркс – персидский царь, правивший с 485 по 465 г. до н.э. и воевавший против греков. Фемистокл (525 (?) – 461 гг. до н.э.) – военный и политический деятель Афинского государства в Греции. Октавиан – родовое имя римского императора Августа (63 г. до н.э. – 14 г. н.э.). Марк Антоний (82 (?) – 30 гг. до н.э.) – римский консул и полководец, ближайший сотрудник Юлия Цезаря, после его гибели – союзник, а затем противник Октавиана Августа, одна из главных фигур в гражданских войнах 40–30-х годов в Риме.

³⁹ В греческой мифологии старец-прорицатель и спутник бога моря Посейдона, обладавший способностью менять свою внешность и превращаться в различные существа. Имя его стало нарицательным для обозначения непостоянного, вечно меня-

в мысли каждого человека, понимать, что каждый выбирает свой путь, живет и умирает по своим собственным законам. Чтение поэтов произвело на меня еще более сильное впечатление; я не уверен, что открытие любви таит в себе больше очарования, чем открытие поэзии. Меня оно преобразило: приобщение к таинству смерти не погрузит меня в мир иной глубже, чем закат у Вергилия. Позже я предпочитал тяжелую суровость Энния⁴⁰, столь близкую священным истокам римского племени мудрую горечь Лукреция, предпочитал щедрой непринужденности Гомера смиренную скупость Гесиода. Больше всего ценил я поэтов наиболее сложных и наиболее темных, заставляющих мою мысль заниматься наитруднейшей гимнастикой, ценил поэтов самых недавних или самых древних, тех, что прокладывают для меня совершенно новые пути или помогают вновь обрести затерявшиеся в чаще тропинки. Но в эту пору я особенно любил в стихотворном искусстве все то, что непосредственно воздействует на наши чувства, любил сверкающий металл Горация, любил Овидия с его плотской изнеженностью. Скавр приводил меня в отчаяние, утверждая, что я всегда буду лишь самым посредственным из поэтов, ибо мне не хватает таланта и прилежания. Я долго считал, что он ошибался: у меня до сих пор лежат под замком два-три томика моих любовных стихов – главным образом подражания Катуллу⁴¹. Но теперь мне почти безразлично, плохи или хороши мои собственные творения.

ющегося человека.

⁴⁰ Римский поэт греческого происхождения (239–169 гг. до н.э.), известный главным образом своей стихотворной «Летописью», где рассказывалась вся история Рима и воспевались подвиги его героев.

⁴¹ Адриан действительно был автором большого числа любовных стихотворений. См. о них в жизнеописании этого императора, составленном Элием Спартианом («Писатели истории императорской». «Адриан», гл. 13).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.